

Настойчиво и съ удовольствиемъ слѣдить граѣ Толстой за этой желтой, красной, пестрой вереницей сарафановъ, платковъ и подевокъ, въ лучахъ краснаго дня, когда жаворонки выются надъ ржами; съ явной радостью, заражая ею читателей, перечислять онъ, съ наслажденiemъ и пространно описывать: „шли старики... шли мужики молодые... шли дворовые... шли дѣвочки табунками... шли весело, говорили, догоняли другъ друга, здоровкались, осматривали новые платки, бусы, коты прошивные“. Вонь мальчишки идутъ... Вонь идетъ худая, разряженная баба, самая послѣдняя баба, которую мужъ ужъ давно бить пересталъ... Вонь идетъ приказчика съ зонтикомъ и работница ихъ Василиса въ красной занавѣскѣ... Идутъ, идутъ...

И самая яркая въ этой движущейся деревнѣ, идетъ красавица и чаровница Маланья („красавицу, кто бы она ни была, баба ли, барыня ли, издалека видно“...), — первая хороводница, плясунья, игрица. Это она любовные шутки шпутила, играла огнемъ и обожглась, — тѣмъ самымъ огнемъ, который внослилъ моралистъ-Толстой хотѣлъ бы погасить. Но пока онъ былъ только художникомъ, онъ не подходилъ къ Маланѣ съ короткими критеріями морализма, онъ любовался на нее и самый грѣхъ ея описать такъ обольстительно, такъ откровенно, не стѣсняющимися словами. Природа не стѣсняется. „Красавица ласковая, полюби ты меня! — умолялъ гуртовщикъ Маланью... — Марья Родивоновна! утѣши ты мои тѣлеса!“... Не смущаютъ